



Пасхальные
рассказы о любви

Произведения
русских писателей

Серия «Пасхальный подарок»

Сборник
Татьяна Викторовна Стрыгина
Пасхальные рассказы
о любви. Произведения
русских писателей
Серия «Пасхальный подарок»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42534450

Пасхальные рассказы о любви. Произведения русских писателей / Сост.

Т. В. Стрыгина. : Нукая; Москва; 2019

ISBN 978-5-91761-956-9

Аннотация

В этой книге собраны невероятно трогательные пасхальные истории о любви, которые никого не оставят равнодушным, ведь именно любовь помогает людям раскрыться во всей творческой полноте и красоте. Жажда любви вдохновляет, расширяет сердца до возможности увидеть невидимое и выразить невыразимое, но иной раз и ослепляет. И все равно люди ждут любви, как чуда. И это чудо иногда приходит...

Содержание

Александр Левитов (1835–1877)	6
Накануне Христова дня	6
Конец ознакомительного фрагмента.	38

**Пасхальные рассказы
о любви. Произведения
русских писателей
Составитель
Татьяна Стрыгина**

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви

ИС Р19-818-0658, ИС Р15-422-1888

Авторы:

В. Авсеенко Л. Андреев А. Будищев

Н. Гарин-Михайловский

Н. Гейнце

З. Гиппиус

Н. Каразин

П. Каргашев

А. Куприн

А. Левитов

Н. Лухманова

И. Савин

А. Севастьянов

Ф. Сологуб

М. Цветаева

А. Чехов

Ал. Чехов

И.Шмелев

Содержание

Александр Левитов

Василий Авсеенко

Иван Савин

Александр Левитов (1835–1877)

Накануне Христова дня Повесть

На дворе стояло то доброе время, которое зовут весною. Давно уж Алексей, Божий человек всю воду с пригорков в долины согнал, и разлилась она быстрыми ручьями по чернозему необъятных полей, канавы придорожных насыпей вплоть до краев собою наполнила и даже большую дорогу, так и ту всю собой залила. На сельские улицы, без понукальщицы нужды, выйти было нельзя, потому что, в полном смысле, реки стояли на них, и если к соседу за солью нужно было сходить, так лодка надобилась. Мальчишкам мужицким это и на руку: в чаны да в лотки мукосейные гурьбами насажались да и показывают, как в старину атаманище страшный – Стенька Разин – город Астрахань брал. Известное дело: многим из них очень явственно приходилось узнавать, как этот злодей атаманище народ православный в реке Волге топил, потому что флотилия Стеньки была, я думаю, несколько понадежнее корабликов их.

Того буря да пушки потопить могли (да лих-беда не топили!), а лоток, чуть лишь с чаном столкнется, ну и ко дну по-

шел вместе с разбойниками этими, бесшабашными удальцами восьмилетними! Как хотите, а уж тут рубашонку нужно бы переменить, да на теплой печке погреться бы следовало; ан нет – не туда глядишь! Поди-ка ты к матке чучелой таким, с маковки до пят грязью да навозом облепленным, так она небось не пожалеет белые руки свои драньем мокрых вихров натрудить. Так где уж тут к матке на беду свою великую жаловаться да скорбеть идти? В пору б только до гумна успеть добежать, чтоб она не видала. Самому там можно в старую солому зарыться, а рубашонку на яблонь повыше повесил, так она, стриженная девка косы еще не успеет заплесть, уж и высохла.

Так вот видите, как солнце-то припекало: снега, надо быть, поскорей с земли хотело согнать, потому что Бог пору такую послал, когда Он травке всякой на свет Его Господний показываться велит.

А назади дворов, где раскинуты были огороды, видно было, как пары густые такие да столбами такими высокими в небушко поднимались, ровно тысяча изб в одно время топились (так они чистое небо весеннее затуманивали!); а солнце все-таки лучом своим насквозь их прохватывало, и временем можно было подумать, что столбы те огненные, что не свет солнечный в тумане этом блестят, а что это дым и пламя несутся в небо от жертвы, которую Богу земля сожигала за то, что Он послал ей весну благодатную, цепи с нее зимние снявшую...

Ну и воробьи опять стадами эдакими, штук ста в два и побольше, на избы, на деревья, на риги расселись и чирикают! Рады беззаботные Божии птицы, потому, первое дело: тепло, ветер морозный жидких перьев не дергает, а второе: всякое зернышко на земле издали видно, слети да и клюй, не то что зимой, ищи его там по сугробам великим, зноби ножки тоненькие, да, пожалуй, ничего не нашедши, и до гнезда-то своего, голодный, долететь не успеешь, сразу вверх ногами мороз перекувыркнет.

И все это на селе чего-то ждало словно, потому Страстная Суббота была – день печали великой и пощения святого. Седые головы старых большаков и болыначих частенько-таки окошечками выдвигаемыми постукивали, на солнышко всё на ясное посматривали: когда-то ты, мол, солнышко, закатишься? Потому, от самой Страшной Середы до заката солнца субботнего всякий честной христианин, а паче блюститель и глава семейства, кроме пятаковой просфоры, есть ничего не моги. Ну оно и того!.. Хоть и теплом пригревает, и лучом солнечным землю подсушивает, а все как-то нет-нет да на небушко и взглянешь, да грешным делом и слабость тебе тут на ум взбредет: хоть бы, мол, сумерки поскорей наступали, звездочки поживей бы показывались, по крайности тогда редечки с кваском хоть бы маленечко похлебал...

На три добрых версты растянулось село, о котором говорю я. И как чудно растянулось – сказать невозможно. Истинно, что ни складу ни ладу. Говорили про него соседи-мужики

шутки ради, что дед его будто из лукошка горстями посеял. Только на самом плане один кабак и стоял; с какого конца в село ни въезжай, отовсюду елка виднелась – и уж ты эту самую елку ни на каком кривом коне, все равно как суженого, ни за что не объедешь. А про избы мужицкие уж и говорить нечего, потому одна из них на самую дорогу, почитай, выпятилась, всякому проезжему сказать ровно хочет: вишь, хозяин-то мой прошлым годом меня новой соломкой прикрыл да крепкими плахами заново разваленный угол подпер; а другая-то с красной улицы от стыда, надо думать, на огород убежала, потому развалилась совсем, одни только навозные завальни ее и поддерживают. Посмотришь на нее так-то попристальнее, видишь, как это она крышей своей растрепанной, головой словно горемычною, машет: нет, говорит, уж куда нам на дорогу-то выходить на людскую?.. Нам бы вот ближе о плетень да об верею опереться да без поправки еще годик-другой простоять. Дальше глядишь – и болото тут расстилается, такая трясина непросушная, что уж на что чушки, а и те в нем в самое жаркое летнее время до смерти закупываются; а за болотом густые ветлы стоят, высокие озерные травы растут (видимо-невидимо в тех травах и деревьях живет разных птиц); а за ветлами садик какой-то аршинный раскинулся; вся его загородь цветами разными как будто бы заткана, так что чуть-чуть лишь виднеется из-за этих цветов гладко причесанная, словно золотая, соломенная крыша какого-то домика-клетки. Выстроила себе эту клетку красная

девица – святая черница, обо всех нас грешных богомолица, нарочно в таком тихом месте, чтобы спокойней было молодое сердце ее, людского соблазна не видючи, суетой их грешной не прельщаючись...

Никто не мешает, строй, где хочешь и как знаешь! Прост на этот счет у нас волостной голова. «По мне, хоть камыш выжни на острове, да там и селись», – говаривал старик. Птица уж на что глупа, а тоже на старое гнездо прилетает, – значит, она его облюбовала. Поэтому слободской поп всю дорогу палисадником своим и загородил – новую уж дорогу-то через Аринин огород проложили. Огурчики там у него на грядках растут, розаны разноцветные на длинных стеблях своих журавлями длинноногими раскачиваются, толстые тыквы плетями своими весь плетень заплели, да хорошенькая дочь по тому ли по зеленому садику частенько похаживает, свою девичью кручинушку разгуливает. Красиво у попа в палисаднике было – словно в раю каком!

Поповым палисадником оканчивалось село. За ним уже начинался посад¹, который во времена оны назывался острожком, несколько позже фортецией, а в настоящее время одни только мужики, без всякого, по-видимому, основания, продолжают с упорством обзывать его городом, а изредка даже и крепостью. По сбивчивым и до крайности темным сказаниям, ходящим в народе, в крепости этой стрельцы да

¹ *Посад* – поселок, часть города, расположенная вне городской стены; предместье.

казаки пограничные от татар и от своих разных воров отсиживались, в Елец да в Рязань их, разбойников, не пускали. И после уж, когда этот острожек фортецией назван был, когда могучая рука, всему миру известная², из липецких дебрей стуком топоров, рубивших лес для воронежского флота, воров и зверей распугала, около этой фортеции мужичишки и всякие посадские люди весьма селиться стали, потому что сторона была очень привольная: горсть посеешь – воза соберай, рыбы и живности всякой – ешь не хочу. И лес тут же под руками стоит – такой соснячище, что и теперь еще посмотришь, так шапка со лба валится. На пятьсот верст, сказывают, вдаль пошел – много в нем солдатиков беглых и разных бесшабашных голов скитаются. Так-то вот и составился посад, который теперь видим мы и про который так и в книгах записано и на белой дощечке (при въезде на мосту какая стоит) нарисовано: «Посад Чернополье, Черноземского уезда, содержится иждивением слободских христьян». Подлинно не могу вам сказать, кто содержится крестьянским иждивением – мост ли один или весь посад? Должно быть, и тот и другой, потому что ежели бы не было, так сказать, приделано к посаду села, о котором я сейчас говорил, то мещанам и купцам посадским совсем некого было бы надувать, и, следовательно, как мост должен был непременно развалиться, так и самые торговцы с голоду неизменно бы померли.

Имеется надежда когда-нибудь рассказать вам не только

² *Могучая рука, всему миру известная* – речь о Петре I.

про то, каков посад этот в настоящее время, а даже и про то, каким он в старину был. Все про него со временем расскажу я: как он вырос на безлюдной степи, как валом высоким обкапывался, грудью облюбованную землю как широкою отстраивал. Потом как по тихому Воронежу подплывал к нему на войлоках колдун и разбойник Наян, как он его полною великим полонял, жен и детей убивал, а молодых к шайке своей безбожной привораживал, как после этого полона царь великий на фортецию с милостями своими царскими наехал и заново всю ее отстраивал – про все расскажу. А ежели ж по своей великой лени я старые посадские времена как-нибудь проминую, зато уж новую нынешнюю его жизнь опишу непременно, потому что все эти недочеты и перебои жизни горожанской хорошо мне известны.

От недочетов-то этих, а пуще от перебои, по диким степям могучие силы изнашиваются, широкие груди, с которыми под раскрытыми горожанами избами люди рождаются, скоро иссушиваются. Под одной из таких-то разбитых крыш (стащили мы с ней гниющую солому в голодную зиму на корм коровам), вместе с белобокими касатками и серыми воробьями, вырос и я. В такой-то избе, помню я, убивалась и плакала мать моя о том, что ни мужу, ни ей работы нет, детям хлеба нет, а недоимки и сборы разные есть. Из этой избы несли ее, бедную, тяжелым всегдашним страхом за судьбу детей истерзанную, на тихий погост наш, весь заросший высокой травой, весь закрытый густыми ветлами да ивами

раскидистыми...

Бог с тобой, душа богомольная, праведная душа! Не знаю, как и отчего ты не умолила Бога, чтобы не видеть мне еще, к моему великому горю, как из этой же самой избы, по отцову приказу, пошла за немилотою замуж дочь твоя любимая, дитя твое скорбное, забота твоя болезная?..

Много их – этих неизбежных принадлежностей мещанской жизни, тут их всех не упишешь... Да и писать-то про них не место здесь, потому что про Липатку, чернопольского дворника³, говорить теперь нужно.

Жил-был, извольте видеть, в Коломне мужичок некий, по части вырезывания кур из садков проезжих курятников безустанно он занимался; только однажды извозчики подкараулили его на работе да на своем самовластном суде так его урезонили, что он от резонов тех чуть-чуть не пошел в мать сыру землю. Полтора дня на одном месте, без всякого чувства, как собака лежал, и, как теперь сам он полагает, знакомый человек ежели бы его с места этого проклятого не перетасил на другое, оченно в это время околеть бы мог. И думает Липатка после встрепки-то: больно уж под Москвой ноне народ прозорлив стал, ремеслом своим, выходит, займываться никакими то есть манерами невозможно, – душу на нем свою, пожалуй, загубить не мудро. Так-то и выдумал он: дай, говорит, в степь махну, недаром, мол, про нее говорят: дурацкая сторона. Коли она вправду дурацкая, так я там,

³ Дворник – здесь: владелец постоянного двора.

по своей уловке, завсегда прокормиться могу. И пошел он в дурацкую сторону сам-друг с женою (лихая бабенка такая, Феклушкой ее поначалу-то в Чернополье у нас величали); а про Чернополье-то он прежде от знакомого краснорядца слышал: глухая сторона, дескать; завсегда там музланов этих, лапотников, без всяких обиняков надувать можно. И держит наш Липатка путь прямо в Чернополье, – верст за пятьдесят от него подводу нанял, чтобы то есть приехать туда не только какой-нибудь шаромыжною, а с форцем, как подобает всякому торговому человеку. Приехавши-то, возьми Липатка да к мещанину одному и пристройся (больше все вином он того мещанина объезживал, падок тот человек на винище был); да двор у него постоялый и сними.

Однако ж, надо полагать, не шибко бы он на свою коломенскую семитку расторговался, ежели бы, на счастье его великое, не случилось в Чернополье такого дела: купец тут у нас один жил, и долго жил; а тут, как нарочно, только Липатка приехал, он взял да и помер. Сынишка после него остался (вот ведь купеческий сын, а имени другого никто ему не давал, кроме как Никишка). И был этот Никишка в годах уж: лет тридцати, должно быть, а может, и больше, потому говорю так, что детишки у него довольно-таки крупненькие в это время по улицам бегивали.

Вот ведь говорят же люди: каков поп, таков и приход, каков отец, таков и сын. Нет, видно, и у хороших попов плохие приходы бывают, а у отцов хороших сыновья дурные живут.

У хорошего было отца Никишка родился, однако ж, правду сказать, дурака такого беспримерного искать да искать надобно было. Только слава, что купец, а купец-то этот ни в дудочку, ни в сопелочку. Покуда молод был, учивал его знатно отец – вся, бывало, рожа-то в синяках; а тут, как подрост, туго тоже от него старику приходилось. Рассказывают, коли не врут, не раз батюшке родному сдачи давал – сынок-то.

Развязала молодцу руки отцовская смерть. И на ту и на другую сторону почал он отцовское именье раскачивать. Вот уж справедливо пословица-то говорит: всем сестрам по серьгам. Не токмо что серьгами, а и капиталами от него великими пользовались черницы наши. (На огородах тут у нас живут разные эдакие девки, отшельницы аки бы, – и точно, что иные из них примерной жизни девицы.) А Феклушка-дворничиха, жена-то Липаткина, в это время во всем цвете была. Сядет, бывало, на крылечке в кумачном сарафане, душегрейку с разводами шитыми наденет, фуляром желтым накроется, да словно картина какая писаная, и сидит себе, семечки подсолнечные погрызывает, веселые песни поигрывает. И так она те веселые песни забористо игрывала, что не только что медных, а и серебряных, кажется, жаль бы не было отдать за них, потому разливалась она все единственно, как теперь соловей-птица темной ночью весеннею под кустом поет. А Никита целый день, бывало, мимо крыльца на рысаке, все равно как молния, жжет: наших, мол, знай, Фекла Ивановна! Ты вот такое-то деревцо срубила б себе – куп-

ца-молодца! Ну-кась, говорит, к Липатке-то своему прирав-
най-ка нас; ан, мол, отмену-то сразу увидишь.

И таким побытом дело это долго шло; а там, глядь-по-
глядь, Никишкин рысак целый день торчит у Липаткина
крыльца.

Часто это, бывало, починала Феклушка на своем коломен-
ском наречии разжигать Никиту Парфеныча.

– Эх, – говаривала она, – Никита Парфеныч! Насквозь те-
бя вижу всего, как ты бедной бабой на малое время позаба-
виться хочешь, а туда ж про любовь говоришь. Ты вот, ежели
взаправду-то любишь, дай займы рубликов пятьсот на тор-
говлю.

– Как же я могу денег вам дать, Фекла Ивановна, когда
вы, примером, склонности ко мне никакой не питаете? Все
единственно должно быть, ежели я теперича пятьсот рублей
на ветер бросил, тогда бы по крайности я то удовольствие
получил, что вот, дескать, стали бы говорить про меня, какой
такой богатый купец я есть – по пятисот на ветер бросает.

– А говорит, что любит, – пытала его Феклушка. – Да еже-
ли бы я кого теперича полюбила, так (гром меня разрази,
ежели вру!) все бы на свете ему отдала. А я тебе по правде
скажу, Никита Парфеныч: хочу себе сыскать полюбовника,
потому не люблю Липатку, – сам знаешь, какой он шут пу-
чеглазый, только ты смотри, про это ему не сказывай. (А чего
там не сказывать-то? Всеми этими делами сам Липатка ору-
довал.) Я вот Мишку Гривача полюблю, уж Мишка не тебе и

не Липатке чета, в самом Питере, в гвардии ундером служит. Уж как же только я ласкать его буду. Вот возьму его, обойму эдак – и хоть што хошь он делай, от себя его не пущу. – И на самом Никите Феклушка показывала, как это она обнимет ундера своего, когда в приятство войдет с ним.

– Я, – говорил Никита, – я тебе, Фекла Ивановна, капиталы все отдам, землю, сейчас умереть мне, всю под тебя подпишу. Пускай дети по миру ходят! Ты меня полюби только.

А и змеигца же подколодная была эта Феклушка, такая-то лютая была мужиков привораживать, у нас такой никогда и не видывали (сказывают, под Москвой все бабенки такие, от приезжего народа вволю, говорят, блох-то они набрались)... Обовьет она, бывало, дурака-то степного – Никишку руками своими, словно кольцом неразрывным, да глазами вся и вопьется в него, как ведьма какая. А глаза у ней большие такие были да масляные, так и светились, кошачьи словно.

В великую злость приводила она его ундером. Есть тут у нас лихачи в Чернополье из мещан – удальцы такие, за вино все сделать готовы, так он немалую сумму им передавал, чтобы они колотили Гривача, – ну, удальцы, известно, свое дело знают: прищучивали Гривача частенько-таки и колачивали его здорово, в угоду Никишке. Великое тут похмелье в чужом пиру принимал гвардейский ундер!

Года с два времени в таких проделках либо прошло, либо нет; а уж у Никиты Парфеньча от отцовского добра одна только удаль собственная безалаберная оставалась. Про-

бовал он тут по кабакам юродствовать, разные куншты выдывать, да немного этим товаром наторговал, – в пьяном образе с моста в реку бросился. «Что, – говорит, – без капиталов за жисть! Характеру, – говорит, – моему молодецкому поблажать перестали!» Об нем-то уж нечего говорить – баран из него шуту добрый будет, а детей так истинно жаль. В праздничные дни, когда на посаде бывает базар, ходят они – внуки миллионщика – да сено, которое от приезжих мужиков остается, на топливо собирают; а купчиха второй гильдии – мать их – полы у мещан моет, зернами подсолнечными да грушами пареными кое-как перебивается.

Куда справедливо выходит теперь изображение, как счастье да судьбу людскую колесом рисуют! Цепляются за него неразумные люди, каждый из них вверх норовит залезть – и лезет, и высоко залезает, так высоко, что другие зубы на него начинают вострить, как бы его, дескать, стащить оттуда, и головы над этим делом долго ломают; а тут и хитрость вся в том только, чтобы время пришло, когда он сам сверху-то торчмя головой полетит, – только что, ежели уж вправду зло возьмет кого на верхнего, подождать следует немного, как он, тоже слетевши, на других верхних зубы будет вострить, опять карабкаться станет, не жалеючи последних сил, – и тут уж ты над ним смейся, сколько душе угодно, коли есть охота: потому твоя очередь пришла наверху быть.

Вглядывались бы люди попристальней в картинку эту да понимали, что изображает она и к какому делу ведет, так

смеху-то на свете сколько бы было!

И у нас так-то: Никишка потерял, Липатка нашел. Нам все равно, кто ни поп, тот батька, кроме как разве того, что нам в Чернополье без богача жить невозможно, – старостой церковным выбрать бы некого было, и опять же всякое там разное бывает, зачем бедные люди в ноги богатым кланяются...

Скоро как-то все узнали в посаде, что вместо Никиты первым богачом сделался Липатка-дворник, и, словно сговорились, в один голос все его Липатом Семенычем возвеличили. Так-то! Вот она, что значит деньга-то! Невидимо она тебе почет принесет, так ты и береги ее, потому чем дольше ты ее побережешь, тем дольше на верху колеса счастья удержишься. Верно!

И стал наш Липат Семеныч в это время обеими руками жар загребать, – зверь на него красный, по пословице, как на ловца, со всех сторон повалил. И хлебом-то он торговлю повел, и лошадьми-то, и сады стал снимать, а главное, у помещиков погорелых очень уж много земли скупил, так что всем видимо стало, что не одни только капиталы Никиты Парфенова в тех его торговых делах купаются. Пошли тут по селу всякие слухи про Липата. То у него нечаянно подсмотрят каких-нибудь неизвестных людей, – и никто не видал, когда эти люди входили к нему и когда выходили; то вдруг разнесется молва, что будто Липат Семенов по целым ночам в своем погребе делает что-то. Стук будто бы из этого погреба слышал кто, словно бы от кузнечной работы... Многое

разное шушукали так-то промеж себя; а он знай себе богатеет, над опасливой людской речью потешаючись, свою Феклу Ивановну немецкими платьями изукрашивает.

Только как же это у Господа истинно оказано: несть, говорит, тайны, аще не явлена будет! Всё теперь проведали, всё разузнали – и правда, что неизмерима жадность человеческая, аки омут глубокий речной – все-то он в себя принимает, ничем-то ты его не насытишь.

Совсем Липатку бес оседлал: мало ему показалось добра, позором жены нажитого, он еще другую штуку погуще выкинул. (Бедовый этот пригородный народ! Много этот народ, из-под матушки Москвы с разными мастерствами своими к нам наезжающий, люду у нас доброго на степях совсем с толку сбил!..)

Вот она какая это штука была: повадился к Липатке торговец один – владимирец – на постоянный двор въезжать! Знали мы его все в Чернополье, как он, бывало, то с работниками подводах на пяти наедет, а то, как в Москву за товарами за новыми или с выручкой домой едет, один прикатит. Разбитной такой малый был этот владимирец и купец тоже хороший. Весь посад у него завсегда в долгу был. Только и получает Феклушка от мужа наказ тайный – облапошить владимирца. Вот и начала она к нему подъезжать: а молодому дорожному парню то и на руку. Много ли, мало ли времени прошло, только владимирец в великую любовь с Феклушкой вошел, да, видно, не на таковского она в этот раз налетела –

тертый был. «Ты, говорит, ежели хочешь любить нас, так без денег люби, потому мы не уроды какие. Случается нам по барским селам товары разные развозить, так барыни, примером, уж на што образованность всякую знают, а и те нами не брезгают...»

Дока на доку как тут нашла, все мы видели и все дивились этому, а бабы так и смеялись немало. Феклушка-то и полюби владимирца-то; да ведь как? Сохнуть по нем, на всех глазах, стала, с лица вся сменилась, – и так этот владимирский парень ее к себе приспособил, что она ему про Липатку все рассказала, как то есть он получает ее деньги с него обирать.

Здорово тут владимирец разными обиняками над Липаткой подтрунивал. Начнет ему, бывало, при извозчиках разные истории про хитрости бабы, как они мужей самых хитрых обманывают, рассказывать, так извозчики такой грохот подымут, даже стены трясутся и тараканы с потолка падают.

Только так Феклушка это дело вела хитро, что про ее стачку с владимирцем Липатке и в ум не взбродило, – все думал он, ровно глаза-то ему заволокло тем, что жена заодно с ним, и как только уедет владимирец, он сейчас ну ее спрашивать. «Что? – говорит. – Сколько?» – «Да ничего», – Фекла ему в ответ. Ткнет он ее в зубы раз-другой и скажет: «Эх ты, шутова голова! Грех только один понапрасну на свою душу берешь и меня с собой в ад тянешь...» Богобоязлив был очень...

Как ни благополучно, однако ж кончилось у них дело это, – припоминать да рассказывать станешь про него, мороз по коже дерет!

Известно, какие у нас тихие да молчаливые ночи под какой-нибудь праздник живут. И чем больше праздник назавтра, тем они тише и безответнее. Рано в такие ночи по селам спать залегают, потому к заутрене нужно вставать – и не увидишь ты в такие ночи на улице ни одной души живой. Из окошек только огоньки виднеются от лампад, что горят перед иконами. Вот в такую-то ночь, кто слышал, а кто и не слышал вовсе, колокольчик ямской так-то по улице прозвенел шибко. Тройка сейчас же к Липаткину крыльцу подскакала, свалила седока и домой отправилась, – спешил, должно быть, ямщик, потому с минуты на минуту разлива реки ожидали.

– Господи! Кого в такую пору леший принес? – догадывается Липатка сквозь сон.

– Подь, отопри. Барин, надо быть, какой приехал; вишь, с колокольчиком, – полагала Феклушка.

– У тебя сколько крестьян-то? Вишь, барыня какая – мужа отпирать посылает. Ты зачем работницу отпустила?

– Ишь ты, ум-то, должно быть, весь в кабаке оставил, сдачи-то тебе с него ни крошечки не дали. Пришлось в кои-то веки самому дверь отпереть, так к жене приставать, зачем работницу отпустила? Ты будешь работников отпускать, чтобы они в праздник понапрасну, без дела, хлеба не ели, а жена

иди дверь отпирать – как же?

– Не бреши, отопру пойду, – сказал Липатка, и так-то ясно заблестал свет серной спички, которую зажег он.

Пустырь-пустырем глядела изба постоянного двора. Облака какие-то сырые и удушливые густой такой пеленой поднимались от грязного пола и доходили вплоть до самого потолка. Потный весь потолок-то был, – на пустую квашню, кверху дном обороченную, как почнут ночью кап-ли-то капать с него (редко они капают-то, да такой звонкий зык от них в пустой избе раздается), что впервой, когда ночуешь на таком дворе, долго уснуть не можешь, потому что все к тому зыку, дыхание притаивши, прислушиваешься и думаешь: кто бы это так заунывно в избе ночью постукивать стал? Слушаешь, слушаешь так-то – и пойдут тут к тебе в голову разные думы... и тишина это такая в избе стоит, – не жукнет никто, кроме как капли эти всё об кадушку стучаются: «бум», словно кто щелчком в оконницу стукнет, да, погодивши немного, опять: «тум-м», окажет погромче еще, да сверчок в теплой запечине разливается, а на улице – тут-то ветер гугукает, таким-то он чем-то живым и страшным на просторе гуляет, что деревенские собаки обманываются. Такой лай, такую беготню поднимают они за ним, что посмотришь в окошко, да как не увидишь, за кем они гоняются, так волосы дыбом на голове встанут, мороз тебя по всему телу ударит, и перекрестишься, потому иное дело случается, что собаки и на ветер брешут, а иное: ведьмы-переметчицы по улицам в разных

звериных образах бегают (часто они у нас над запоздалыми потешаются!)... Отойдешь поскорей от окна, да на лавку, и силишься покрепче заснуть, чтобы не слышать и не видеть ничего, потому глушь эта тоску на тебя наводит, сердце до великой боли щемит...

Только что начнешь засыпать, вдруг проезжий какой-нибудь, с угару словно, в раму забубенит. «Пусти ночевать!» – орет, ровно уж там, на улице-то, светопреставление началось, антихрист за ним по следам гонится. И тут тебе ж в уши воркотня хозяйская: ишь, дескать, леший, ровно дурману налопался, ребятишек-то всех испугал; и точно что большой тут крик поднимают ребята, мать их шлепками усмирить норовит, ребятишки пуще с шлепков кричат, а проезжий думает, что не слышат его в избе, и в окно стучит крепче и голосу-то все гуще наддает; а там как шаркнет серной спицей по печке хозяин да осветит тебе сарай-то свой, так что это за пустошь такая! Одурь даже возьмет, как это все разрыто да разбросано! Поневоле поверишь, как старые бабы толкуют, что по ночам-то в избах черти меж собой воюют. Так-то гневно из переднего угла глядят на тебя лики святых угодников старинного писания. (У нас ведь, по степям-то, двory постоялые держат всё больше коломенцы да рязанцы, так они, по своей старой вере, образа-то с собой оттуда привозят. У нас таких гневных и нет совсем.) Медные ризы святых, старинной новгородской работы, так-то светлы, – ослепнуть можно, глядя на них.

Опять тоже на перегородке, которая отделяет хозяйское логовище от общей избы, какие-то пестрые да уродливые картинки нарисованы. Просто глаз девать некуда, – потому убожество всякое прямо в глаза тебе льнет, и как это дурковато да несообразно представлены (хоть и в лицах представлены!) генералы нашинские на картинках тех. Без всякого вреда скажут будто они по штыкам ненашинской пехоты, одной рукой будто они с той бестии пехоты головы рубят, другой усы гладят – и такие длинные да курчавые усы эти, каких у настоящих-то людей никогда и не бывает. И черт тоже на особенной картине нарисован: рожа у него куриной представлена, туловище человечесь, ноги с копытами конскими, а сам он с хвостом и рогами, и весь-то он унизан тыквами да картофелем. Старец к нему некий святой навстречу идет, пальцем ему грозит издали, и из уст того старца исходят слова такие: «Почто ты, говорит, враже, Божиим даром забавляешься? Зачем, спрашивает, тело свое дьявольское тыквами да картофелем унижал? Разве, говорит, не знаешь, что я тебя за это проклясть могу и в тартарары засажу?» И от врага тоже такая речь к старцу проведена: «Ай не знаешь ты, старче Божий, что у меня, сатаны, дело такое есть – людей с толку сбивать? Нужно, говорит, мне, сатане, мужиков прельстить, чтобы они ни тыквы, ни картофелю в рот не брали, чтобы они наказов окружного тот картофель и тыкву сеять и есть не слушались. А там, говорит, послали меня из ада произвести во всех царствах плач и стенанье большие, потому на-

чальники за то, что их наказов не слушают, на мужиков озлобятся и будут их картофелем тем насильно кормить и плетями трехвостными сечь; а мужики, тоже поганым, идольским плодом брезгаючи, на начальников встанут – и будет от того шум и смятение большие – моему дьявольскому сердцу потеха и послуга немалая...» Не стал с ним ничего больше разговаривать старец Божий, а только проклял его, засадил в кувшин и в том кувшине зарыл его на тысячу аршин вглубь земли, где он сидеть будет семь тысяч годов, когда будет пришествие антихристово. С тех самых пор мужики без всякого сомнения картошку и тыкву есть стали, стали есть и похваливать, какой-де такой скусный да сытный плод Господь Бог им послал; а прежде того, на моих еще памятях, у нас по степям картошку и тыкву чертовым яблоком обзывали.

Как будто орехи грызет, с треском таким стучит маятник словно напоказ размалеванных часов, а Липатка стоит себе в избе, ошалелый словно, и отпирать двери нейдет, ровно к стуку часовому прислушивается, как это часто

случается с ним, когда он удумывать начнет, как бы это ему исхитриться да душу свою многогрешную от вечной гибели спасти...

И чего он на картинку одну, которая, зауряд с другими, на перегородке приклеена была, так пристально смотрит? Ай впервой увидал ты ее, Липат Семеныч? Годика три, чай, она уж живет у тебя, – дымом да пылью, видишь, как ее прокоптило: насилу и разберешь ведь, как на ней изображена корч-

ма жидовская, в одиночке от селения поставленная. Спит в этой одинокой корчме офицер какой-то проезжий – чемодан вон его в углу стоит, толстый такой, шкатулка на столе большая такая, – и, может быть, снится тому офицеру, как радостно примут его в родной семье, давно уже не виданной им, мать, может, снится ему, ласки красавиц сестер, и не слышит он, как крадется к нему потихоньку в темноте ночной жид-убийца с топором в руках своих разбойнических...

Смотрючи, вздрогнул Липатка, словно ему кто-нибудь сзади в самое ухо гагакнул нечаянно. Испугался, должно быть, того, что в ставню оконную с улицы сильной рукой застучали.

– Отпирай, Липат! Ай гостям не рад?

Слышно было, как на улице засмеялись после этого, – чудно, надо быть, показалось, что слово такое складное, не думавши, вышло.

– Господи! – потихоньку шепчет Липатка и крестится.

И так странно он душой смутился в это время, что двери сенные чрез великую силу мог отпереть, – руки у него, как в лихорадке, тряслись, и в очах туман расстилался.

Входит владимирец в избу, образам святым молится, хозяину с хозяйкой низкий поклон отдает; а жена для голубчика самовар в пять минут удружила. Шипит самовар на столе, брызгами своими кипучими во все стороны бьет, а владимирец, как и подобает, Липатке рассказывает, как по дороге снега почитай все уж стаяли, как кое-где зелени показались

такие прекрасные (Господу слава!) и как, примером, в иных местах цена на хлеб маленечко посошла.

Немалое время сидят они за столом и благодушествуют. И уж про все свои последние торговые похождения Липатке владимирец рассказал, и историю еще рассказал, от одного барина слышанную (а тот ее в газетах будто читал), как король какой-то ненашинский тайному совету своему велел было такой указ написать, чтобы желающим можно было на трех женах жениться, и уж послушался было тайный совет короля и указ изготовил, да королева, жена его, выходит, разведала как-то про это дело, так таких, рассказывают, мужу нотаций начитала – жизни не рад был, а тайный совет попросту на конюшню весь отослала. Так по-прежнему в этом царстве все дела и пошли опять – больше одной жены иметь никто не мог...

Было чего послушать, когда, бывало, владимирец на постоялом дворе говорить почнет; однако ж Липатка плохо что-то слушал его – и только Фекла одна на него пристально всматривалась. Хотелось бы ей другу милому любовное слово с глазу на глаз сказать да ласку от него получить, а Липатка, как назло, словно шут его к одному месту навек пригвоздил, из избы ни ногой. Сидит он, как-то об стол руками, словно нехристь какая, оперся, бороду на них положил и хмурит брови густые да шершавые (все равно как у колдуна какого, вместе брови-то срослись у него!), – морщины на лбу вырезались, а глаза, будто ночью у кошки, так и светятся.

– Что, Липат, запечалился? – спрашивает владимирец. – Аль жена любить перестала? А ты бы ее за то не легким – тяжелым, дубовым поленом, да все по коленам.

– Что ты, что ты, касатик, – перебила Феклушка. – Ты его этим статьям не учи. Он эти статьи сам знает.

– Ай бы нам выпить? – ввернул свое слово Липатка.

– Не грешно ли будет? Праздник-то завтра не маленький.

– Кто празднику рад, тот до свету пьян.

– Приятно вашей речи хорошей послушать, – согласился владимирец.

Выпили.

– А со мной (недели с две уж прошло) какой случай мудреный вышел, Липат Семеныч, так сколько я, примером, дорог изъездил, а такого ни разу еще со мной не бывало. Едем мы, братец ты мой, проселком, на четырех подводах, в господский дом один пробирались (важный дом такой, без пятисот серебра никогда я из него не выезжал). Два работника были со мной, а ночь эдакая темная: зги не видать. Такую грязь дождь замесил, что ничего ты с лошадьями не поделаешь, да и только. Таково тихо ехали, инда душа изнывала. Вдруг работник и закричал (с задним возом на ряду шел): «Сюда, говорит, вора поймал!» А в заднем возу кибитка для меня была снаряжена, и щекатулка моя в ней стояла. Екнуло у меня сердце, ну, думаю: все у меня теперь, должно быть, вытащили; а сам к возу-то со всех ног и бросился. Гляжу: работник вора-то ногами топчет, а тот уж хрипит только (дрян-

ной такой мужичишка, маленький да тщедушный). «Погоди, – говорю работнику, – не бей, становому представим». – «Что, – говорит, – тут уж годить? Нечего тут годить, с одного кулака совсем сшиб, а еще воровать лезет, дрянь эдакая, дома бы на печи с своей силой сидел...» На другой день, братец ты мой, как мы назад воротились, все на этом же самом месте покойник лежал. Жаль мне таково стало его и страшно, потому душа моя, грех хоша и по неведению сделанный, а участвовала и боязно так ужаснулась.

– А ты его в поминание запиши да свечей поставь, – мрачно советовал Липатка. – Оно не в пример спокойнее будет...

Боязлива же была Феклушка-дворничиха. Все равно как камень рудниковый побелела она, историю эту слушаючи. Переглядывается она потихоньку с владимирцем и молчит, потому что про смерть, известно, не любят бабы по ночам толковать, и владимирец молчит, и Липатка молчит. Задумались они все, словно в печали великой, – как в гробу, тихо было в избе, только Липатка по временам тяжело вздыхал да сверчок покрикивал изредка; а с улицы, сквозь толстые ставни, не долетал в избу даже шум ветра ночного.

– Уж не dokonчить ли нам посудину-то? – осведомлялся владимирец, наливая себе водки. – Семь бед – один ответ.

– Что тут доканчивать-то? Рази мы еще не достанем? – ответил Липатка и вышел.

– Любовный ты мой! Небось уж ты забыл про меня? – спрашивала Фекла владимирца.

– Не моги пусяков толковать. Рази не сказал тебе: всегда любить буду – и спрашивать у меня об этом, смотри, никогда не спрашивай. Очень уж я ваших бабьих расспросов терпеть не люблю.

– Приехал только, а уж сердится; а я все об твоей ласке думала, желанный ты мой, во сне тебя каждую ночь видела.

– Отойти ты от меня подальше, – уговаривал ее владимирец. – Не знаешь рази, какой праздник завтра?

– Ты только одно слово скажи...

– Отшатнись, Фекла! И так греха много.

А в сарае, где свалено было сено, там тоже своим чередом другие дела шли.

Запер за собою Липатка изнутри дверь сенницы, фонарь над головою высоко поднял и смотрит во все стороны – ищет как будто чего, а сам шепчет: «Куда это они запропалились? Не найдешь их тут, а громко кликнуть нельзя, – услышит, пожалуй, кто-нибудь».

– Ребята? А ребята? – вполголоса кличет он. – Куда вы тут запропалились? Спите, что ли?

– Што? Ай с обыском пришли? – послышался пугливый голос из угла сенницы, из-под сена. – Народ-от есть на огороде – не знаешь? А то мы бы сквозь плетень к реке побежали, да в лес.

– Какой там обыск? Дело вышло такое, ребята, богатое. Не робей только. Слышь: дело какое, – продолжал Липатка, – только ты разбуди шута-то своего. И што это он у тебя за

безобразный такой! День спит, ночь спит. Когда он у тебя выдохнется только? Того и гляжу: обоспится он тут у меня до смерти – благо место нашел спокойное да теплое.

– Не сердись, Липат Семеныч. Я вот его сейчас разбуджу. Ты, голова, проснись. Становой с обыском пришел.

– Становой? Где? Я вот щель прорезал в плетне. Лезь скорее, да к реке, да в лес.

– Вишь запасный какой! И щель уж припас. Испортить у меня плетень, я те шею-то порядком нагрею. А ты слушай, какое дело идет.

– Дело? Какое дело? – торопливо спрашивал охотник до сна.

– А вот какое: купца одного зашибить надо... Деньжищев гибель, – с выручкой к празднику домой едет. Один как перст, ямщик дальний какой-то привез, и тот назад уехал.

– Ох, Липат Семеныч! – сказали в один голос ненавистники обыска. – Не бывали мы еще ни разу в этих делах.

– Я сам не бывал, да надо же когда-нибудь, потому одно слово: деньжищев гибель...

Страшный крик вырвался из Феклиной груди, когда она увидела мужа с двумя лихачами, которым сама она, в отсутствие Липатки, неоднократно приют давала. Женское сердце сказала ей, что за погибелью близкого ей человека пришли эти люди. Стала она впереди владимирца, а уж мужнины глаза, что, бывало, в трепет ее приводили, не пугали ее в это время.

– Што вы? Зачем сюда пришли? Народу сейчас назову, – стращала Фекла и лихачей и мужа.

– Что ты! Что ты всполошилась, Фекла Ивановна? – спрашивал ничего не подозревавший владимирец.

– А вот что, – Л ипатка ему говорит, – Богу молись. Час твой последний пришел.

Волосы на голове у владимирца дыбом поднялись. Так и обезумел он, потому что все равно как дубиной грянули его Липаткины слова, – так и присел он, и не только чтобы оборониться как-нибудь от злодеев, одного слова долгонько-таки промолвить не мог. Однако ж, когда кровопийцы подходить к нему стали, опомнился.

– Так ты такой-то, Липат Семеныч? Ну, – говорит, – держись же и ты у меня, разбойник проклятый. Гуляй, – говорит, – купеческий кулак, не давай, – говорит, – меня живым в руки! – И к двери бросился, натиском крепким сбить с крюков ее думал.

И такая тут свалка пошла. В ножи владимирца лихачи приняли, а Л ипатка Феклу душить бросился. Раза два только успела вскрикнуть Фекла – периной ее муж, как курицу, придушил.

– Братцы! Помолиться в последний раз дайте, – умаливал израненный владимирец, но зверей до беспамятства отуманила свежая кровь человеческая. – Эх! Не доехал до дома – с батюшкой, с матушкой не простился! Вот оно где умирать-то пришлось мне. Господи! Прости мне грехи мои тяжкие – в

Царствию Твоему душу мою помяни, – расстановисто твердил молодой купец, расставаясь с ясным светом Божиим.

К заутрене на посаде во всех трех церквах в один голос ударили.

Сколь бы много ни сделала грехов на сем свете душа человеческая, говорит народ, а непременно она удостоится спасения, ежели Бог благословит ее умереть во время Светлой заутрени, потому что, к великому несчастью людскому, случилась эта самая история накануне великого дня Христова.

И в этот раз, опять-таки говорит народ, в это время святое враг не в пример лише, чем когда-либо, с соблазном своим на слабых людей наступает...

Говорится: глупому сыну не в помощь богатство отца. Справедливо это говорится. Йоты одной из закона Господнего никогда мимо не скажется. Сказывает также этот закон: зло приобретенное зле и погибает. Истинно!

Вот ведь он жил, этот Липатка-то, разные злые дела делал, и видели вы, какая память осталась по нем в Чернополье. Гниет он теперь на чужом кладбище, и только старики про него изредка сквозь остальные зубы шамшат, да мальчишки временами орут, как он, по сказам, из темной могилы выходит и нашу тихую полночь своим воплем пугает. Вот сколько оставило время от грешного дела.

Ох! Много уж чересчур всяких хороших дел вместе с другими покрывает собой это время! Без следа, без самых малых примет выметает оно из наших степей вместе с худом

много добра старинного. Тошно становится нам, степнякам, жить без нашего добра, потому как ежели время с чем-нибудь новым изредка и налетает к нам, не можем мы никак взять себе в толк, что это новое значит и как нам с ним поступать надлежит... А некому, некому нас поучить, потому в далекой глуши мы живем. Часто иной человек у нас раздумается, разгадается над каким-нибудь делом, – и так и эдак, на разные манеры, над тем делом свою голову богоданную трудит, – только ничего не придумает он (известно, помочи нет тебе ниоткуда), с тем и умрет... На приклад да в осуждение нашей лени сказать: церкви новые у нас не то по селам, а и по городам даже лет по тридцати строятся. То от вышнего начальства указов ждут, то денег нет в сборе, то мастера настоящим делом не угостили, так он здание, по мудрости своей, и заворочит и выше расти ему не приказывает. Стоит так-то она, матушка церковь-то, иногда больше половины состроенная – и леса на ней, и подмостки разные привешены. Ямы кругом для известки повыкопаны, кирпичи в кучи положены, – только моет же все это дождь проливной, расхищают недобрые тати церковные, а ветер ночью порою так-то печально гудет в Божием доме, так-то он леса, к нему прилаженные, раскачивает и скрипеть заставляет, что, идучи мимо, перекрестись со страхом и скажешь: «Пусто в доме Твоем, Господи, от недосмотров наших, трава всякая недостойная и плевелы в нем повыросли. Не накажи нас за наш недосмотр! Ребятенки наши неразумные почасту играют в

нем; не обрушь его, за грехи наши, на их неповинные головы!...»

Часто ж такие-то храмы обрушиваются и много неосторожных задавливают. Не доходят до Господа наши молитвы, потому ныне и к молитвам-то что-то не так мы усердны, как в старину...

Уходит, ох уходит от нас все хорошее, без возврата уходит! Сила какая-то, надо полагать, тайная завелась у нас на степях и, по Божиему попущению мудрому, отнимает у нас старое добро, а новым таким же ничем не отдаривает...

Легко сказать: двадцать лет, а как подумаешь, сколько в двадцать-то лет воды утечет, сколько перемен разных с человеком случится! И все это как-то вперемежку бывает: хоть бы вот теперь в разумение реку взять. Есть у нее, известно, рукава, заливы, озера. Иное лето, смотришь, место ее какое-нибудь все разными травами заросло, навозом да илом его завалило, некуда протечь из него водице, стоит она и гниет; другим летом, глядишь, половодьем большим и траву, и ил, и навоз – все растащило, прочистилось местечко, любо смотреть на него! И с человеком так же: неделю хорошо, другую дурно живет, день плачется, другой веселится. Ну и понятно это тебе, потому смотрел ты на эти дела с малолетства и привык к ним.

А про наши места не знаешь, что и подумать. Истинно, во все свое жительство одно только и приметил, как на них несчастья всякие, ровно дождь осенний, без перерыва ли-

лись, и не дает нам Господь в гневe своем никакой пощады. Самые старые люди не помнят, чтобы дождик тот вёдром сменился когда. Или бы уж в самом деле говорят, что к Страшному Суду близится время, потому и в росте, и в силе мельчает народ наш – грамоту перенявши, поступает как скот необузданный и в пьянство вдается беспросыпное. Чего у нас прежде слыхом не слыхали, то теперь на каждом шагу видишь: дети против отцов пошли, жены мужей, а мужья жен обманывают, у службы Господней по праздникам-то бывают-таки, а уж в будни одних только старушек увидишь. Наряжается молодежь, по будням даже, в платья цветные, в легкомыслии своем почтения никакого старшим не дает и над советами их мудрыми нечестиво глумится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.